БЕЛЛА
АХМАДУЛИНА
Тайна

БЕЛЛА АХМАДУЛИНА

Тайна

НОВЫЕ СТИХИ

МОСКВА
СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
1983

Р 2
А 95

В новой книге Беллы Ахмадулиной — стихи, написанные в последние годы.

Художник БОРИС МЕССЕРЕР

А $\frac{4702010200—184}{083(02)—83}$ 158—83

© Издательство «Советский писатель», 1983 г.

* * *

Есть тайна у меня от чудного цветенья,
здесь было б: чуднАГО — уместней написать.
Не зная новостей, на старый лад желтея,
цветок себе всегда выпрашивает «ять».

Где для него возьму услад правописанья,
хоть первороден он, как речи приворот?
Что — речь, краса полей и ты, краса лесная,
как не ответный труд вобравших вас аорт?

Я этою весной все встретила растенья.
Из-под земли их ждал мой повивальный взор.
Есть тайна у меня от чудного цветенья.
И как же ей не быть? Все, что не тайна,— вздор.

Отраден первоцвет для зренья и для слуха.
— Эй, ключики! — скажи — он будет тут как тут.
Не взыщет, коль дразнить: баранчики! желтуха!
А грамотеи — чтут и буквицей зовут.

Ах, буквица моя, все твой букварь читаю.
Как азбука проста, которой невдомек,
что даже от тебя я охраняю тайну,
твой ключик золотой ее не отомкнет.

Фиалки прожила и проводила в старость
уменье медуниц изображать закат.

Черемухе моей — и той не проболталась,
под пыткой божества и под его диктант.

Уж вишня расцвела, а яблоня на завтра
оставила расцвесть... и тут же, вопреки
пустым словам, в окне, так близко и внезапно
прозрел ее цветок в конце моей строки.

Стих падает пчелой на стебли и на ветви,
чтобы цветочный мед названий целовать.
Уже не знаю я: где слово, где соцветье?
Но весь цветник земной — не гуще, чем словарь.

В отместку мне — пчела в мою строку влетела.
В чужую сласть впилась ошибка жадных уст.
Есть тайна у меня от чудного цветенья.
Но ландыш расцветет — и я проговорюсь.

САД

Я вышла в сад, но глушь и роскошь
живут не здесь, а в слове «сад».
Оно красою роз возросших
питает слух, и нюх, и взгляд.

Просторней слово, чем окрестность:
в нем хорошо и вольно, в нем
сиротство саженцев окрепших
усыновляет чернозем.

Рассада неизвестных новшеств,
о слово «сад» — как садовод,
под блеск и лязг садовых ножниц
ты длишь и множишь свой приплод.

Вместилась в твой объем свободный
усадьба и судьба семьи,
которой нет, и той садовой
потерто-белый цвет скамьи.

Ты плодороднее, чем почва,
ты кормишь корни чуждых крон,
ты — дуб, дупло, Дубровский, почта
сердец и слов: любовь и кровь.

Твоя тенистая чащоба
всегда темна, но пред жарой

зачем потупился смущенно
влюбленный зонтик кружевной?

Не я ль, искатель ручки вялой,
колено гравием красню?
Садовник нищий и развязный,
чего ищу, к чему клоню?

И если вышла, то куда я
все ж вышла? Май, а грязь прочна.
Я вышла в пустошь захуданья
и в ней прочла, что жизнь прошла.

Прошла! Куда она спешила?
Лишь губ пригубила немых
сухую муку, сообщила,
что все — навеки, я —на миг.

На миг, где ни себя, ни сада
я не успела разглядеть.
«Я вышла в сад»,— я написала.
Я написала? Значит, есть

хоть что-нибудь? Да, есть, и дивно,
что выход в сад — не ход, не шаг.
Я никуда не выходила. Я просто
написала так:
«Я вышла в сад»...

НОЧЬ УПАДАНЬЯ ЯБЛОК

Уж август в половине. По откосам
по вечерам гуляют полушалки.
Пришла пора высокородным осам
навязываться кухням в приживалки.

Как женщины глядят в судьбу варенья:
лениво-зорко, неусыпно-слепо —
гляжу в окно, где обитает время
под видом истекающего лета.

Лишь этот образ осам для пирушки
пожаловал — кто не варил повидла.
Здесь закипает варево покруче:
живьем съедает и глядит невинно.

Со мной такого лета не бывало.
— Да и не будет! — слышу уверенье.
И вздрагиваю: яблоко упало,
на «НЕ» — извне поставив ударенье.

Жить припустилось вспугнутое сердце,
жаль бедного: так бьется кропотливо.
Неужто впрямь небытия соседство,
словно соседка глупая, болтливо?

Нет, это — август, упаданье яблок.
Я просто не узнала то, что слышу.

В сердцах, что собеседник непонятлив,
неоспоримо грохнуло о крышу.

Быть посему. Чем кратче, тем дороже.
Так я сижу в ночь упаданья яблок.
Грызя и попирая плодородье,
жизнь милая идет домой с гулянок.

* * *

Глубокий нежный сад, впадающий в Оку,
стекающий с горы лавиной многоцветья.
Начнемте же игру, любезный друг, ау!
Останемся в саду минувшего столетья.

Ау, любезный друг, вот правила игры:
не спрашивать зачем и поманить рукою
в глубокий нежный сад, стекающий с горы,
упущенный горой, воспринятый Окою.

Попробуем следить за поведеньем двух
кисейных рукавов, за блеском медальона,
сокрывшего в себе... ау, любезный друг!..
сокрывшего, и пусть, с нас и того довольно.

Заботясь лишь о том, что стол накрыт в саду,
забыть грядущий век для сущего событья.
Ау, любезный друг! Идете ли? — Иду.—
Идите! Стол в саду накрыт для чаепитья.

А это что за гость? — Да это юный внук
Арсеньевой.— Какой? — Столыпиной.— Ну, что же,
храни его господь. Ау, любезный друг!
Далекий свет иль звук — чирк холодом по коже.

Ау, любезный друг! Предчувствие беды
преувеличит смысл свечи, обмолвки, жеста.
И, как ни отступай в столетья и сады,
душа не сыщет в них забвенья и блаженства.

ТАРУСА

Марине Цветаевой

I

Какая зелень глаз вам свойственна, однако...
И тьмы подошв — такой травы не изомнут.
С откоса на Оку вы глянули когда-то:
на дне Оки лежит и смотрит изумруд.
Какая зелень глаз вам свойственна, однако...
Давно из-под ресниц обронен изумруд.
Или у вас — ронять в Оку и в глушь оврага
есть что-то зеленей, не знаю, как зовут?
Какая зелень глаз вам свойственна, однако...
Чтобы навек вселить в пространство изумруд,
вам стоило взглянуть и отвернуться: надо
спешить, уже темно, и ужинать зовут.

II

Здесь дом стоял. Столетие назад
был день: рояль в гостиной водворили,
ввели детей, открыли окна в сад,
где ныне лют ревнитель викторины.
Ты победил. Виктория — твоя.
Вот здесь был дом, где ныне танцплощадка,
площадка-танц, иль как ее... Видна
звезда небес, как бред и опечатка
в твоем дикоязыком букваре.

Ура, что победил, недаром злился
и морщил лоб при этих — в серебре,
безумных и недремлющих из гипса.
Дом отдыха — и отдыхай, старик.
Прости меня. Ты не виновен вовсе,
что вижу я, как дом в саду стоит
и музыка витает окон возле.

III

Морская — так иди в свои моря.
Оставь меня: скитайся вольной птицей.
Умри во мне, как в мире умерла.
Темно и тесно быть твоей темницей.

Мне негде быть, хоть все это — мое.
Я узнаю твою неблагосклонность
к тому, что спёрто, замкнуто, мало.
Ты — рвущийся из душной кожи лотос.

Ступай в моря. Но, коль уйдешь с земли,
я без тебя не уцелею разве —
как чешуя, в которой нет змеи:
лишь стройный воздух, вьющийся
в пространстве?

IV

Молчали той, зато хвалима эта.
И то сказать — иные времена:
не вняли крику, но целуют эхо,
к ней опоздав, благословив меня.

Зато, ее любившие, брезгливы
ко мне чернила, и тетрадь гола.
Рак на безрыбье или на безглыбье
пригорок — вот вам рыба и гора.

Людской хвале внимая, разум слепнет.
Пред той потупясь, коротаю дни
и слышу вдруг: не осуждай за лепет
живых людей — ты хуже, чем они.

Коль нужно им, возглыбься над низиной
из бедных бед, а рыбья немота
не есть ли крик, неслышимый, но зримый,
оранжево запекшийся у рта.

V

Растает снег. Я в зоопарк схожу.
С почтением и холодком по коже
увижу льва и: — Это лев! — скажу.
Словечко и предметище не схожи.

А той со львами только веселей!
Ей незачем заискивать при встрече
всем, о которых вымолвит: — Се лев.
Какая львиность норова и речи!

Я целовала крутолобье волн,
просила море: — Притворись водою!
Страшусь тебя, словно изгнали вон
в зыбь вечности с невнятною звездою.

Та любит твердь за тернии пути,
пыланью брызг предпочитает пыльность
и скажет: — Прочь! Мне надобно пройти.
И вот проходит — море расступилось.

VI

Как знать, вдруг — мало, а не много:
невхожести в уют, в приют

такой, что даже и острога
столь бесприютным не дают;

мгновения: завидев Блока,
гордыней скул порозоветь,
как больно смотрит он, как блекло,
огромную приемля весть
из детской ручки;

ручки этой,
в страданье о которой спишь,
безумием твоим одетой
в рассеянные грезы спиц;

расчета властью никакою
немыслимо пресечь твою
гортань и можно лишь рукою
твоею,—
мало, говорю,

всего, чтоб заплатить за чудный
снег, осыпавший дом Трехпрудный,
и пруд, и труд коньков нетрудный,
а гений глаза изумрудный
все знал и все имел в виду.

Две барышни, слетев из детской
светелки, шли на мост Кузнецкий
с копейкой удалой купецкой:
сочельник, нужно, наконец-то,
для елки приобресть звезду.

Влекла их толчея людская,
пред строгим Пушкиным сникая,
от Елисеева таская
кульки и свертки, вся Тверская —
в мигании, во мгле, в огне.

Все время важно и вельможно
шел снег, себя даря и множа,
Сережа, поздно же, темно же!
Раз так пойти, а дальше — можно
стать прахом неизвестно где.

ПУТНИК

Анели Судакевич

Прекрасной медленной дорогой
иду в Алёкино (оно
зовет себя: Алекино́),
и дух мой, мерный и здоровый,
мне внове, словно не знаком
и, может быть, не современник
мне тот, по склону, сквозь репейник,
в Алекино за молоком
бредущий путник. Да туда ли,
затем ли, ныне ль он идет,
врисован в луг и небосвод
для чьей-то думы и печали?
Я — лишь сейчас, в сей миг, а он —
всегда: пространства завсегдатай,
подошвами худых сандалий
осуществляет ход времен
вдоль вечности и косогора.
Приняв на лоб припек огня
небесного, он от меня
все дальше и — исчезнет скоро.
Смотрю вослед своей душе,
как в сумерках на убыль света,
отсутствую и брезжу где-то —
то ли еще, то ли уже.
И, выпроставшись из артерий,

громоздких пульсов и костей,
вишу, как стайка новостей,
в ночи не принятых антенной.
Мое сознанье растолкав
и заново его туманя
дремотной речью, тетя Маня
протягивает мне стакан
парной и первобытной влаги.
Сижу. Смеркается. Дождит.
Я вновь жива и вновь должник
вдали белеющей бумаги.
Старуха рада, что зятья
убрали сено. Тишь. Беспечность.
Течет, впадая в бесконечность,
журчание житья-бытья.
И снова путник одержимый
вступает в низкую зарю,
и вчуже долго я смотрю
на бег его непостижимый.
Непоправимо сир и жив,
он строго шествует куда-то,
как будто за красу заката
на нем ответственность лежит.

* * *

Деревни Бёхово крестьянин...
А звался как и жил когда —
все мох сокрыл, затмил кустарник,
размыла долгая вода.
Не вычитать из недомолвок
непрочного известняка:
вдруг, бедный, он остался молод?
Да, лишь одно наверняка
известно.
И не больше вздора
все прочее, на что строку
потратить лень.
Дождь.
С косогора
вид на Тарусу и Оку.

ЛУНА В ТАРУСЕ

Двенадцать часов. День июля десятый
исчерпан, одиннадцатый — не почат.
Меж зреющей датой и датой иссякшей —
мгновенье, когда телеграф и почтамт
меняют тавро на тавро и печально
вдоль времени следуют бланк и конверт.
До времени, до телеграфа, почтамта
мне дальше, чем до близлежащей,
о нет, до близплывущей, пылающей ниже,
насущней, чем мой рукотворный огонь
в той нише, где я и крылатые мыши,—
луны, опаляющей глаз сквозь ладонь,
загаром русалок окрасившей кожу,
в оклад серебра облекающей лоб,
и фосфор, демаскирующий кошку,
отныне и есть моя бренная плоть.

Я мучу доверчивый ум рыболова,
когда, запалив восковую звезду,
взмываю в бревенчатой ступе балкона,
предавшись сверканью, как будто труду.
Всю ночь напролет для неведомой цели
бессмысленно светится подвиг души,
как будто на ветку рождественской ели
повесили шар для красы и ушли.
Сообщник и прихвостень лунного света,
смотрю, как живет на бумаге строка

сама по себе. И бездействие это
сильнее поступка и слаще стиха.
С луной разделив ее труд и мытарство,
последним усильем свечу загашу
и слепо тащусь в направленье матраца.
За горизонт бытия захожу.

КОФЕЙНЫЙ ЧЕРТИК

Опять четвертый час. Да что это, ей-богу!
Ну, что, четвертый час, о чем поговорим?
Во времени чужом люблю свою эпоху:
тебя, мой час, тебя, веселый кофеин.

Сообщник-гуща, вновь твой черный чертик ожил.
Ему пора играть, но мне-то — спать пора.
Но угодим — ему. Ум на него помножим —
и то, что обретем, отпустим до утра.

Гадаешь ты другим, со мной — озорничаешь.
Попав вовнутрь судьбы, зачем извне гадать?
А если я спрошу, ты ясно означаешь
разлуку, не любовь, и ночи благодать.

Но то, что обрели,— вот парочка, однако.
Их общий бодрый пульс резвится при луне.
Стих вдумался в окно, в глушь снега и оврага,
и, видимо, забыл про чертика в уме.

Он далеко летал, вернулся, но не вырос.
Пусть думает свое, ему всегда видней.
Ведь догадался он, как выкроить и выкрасть
Тарусу, ночь, меня из бесполезных дней.

Эй, чертик! Ты шалишь во мне, а не в таверне.
Дай помолчать стиху вблизи его луны.

Покуда он вершит свое само-творенье,
люблю на труд его смотреть со стороны.

Меня он никогда не утруждал нимало.
Он сочинит свое — я напишу пером.
Забыла — дальше как? Как дальше, тетя Маня?
Ах, да, там дровосек приходит с топором.

Пока же стих глядит, что делает природа.
Коль тайну сохранит и не предаст словам —
пускай! Я обойдусь добычею восхода.
Вы спали — я его сопроводила к вам.

Всегда казалось мне, что в достиженье рани
есть лепта и моя, есть тайный подвиг мой.
Я не ложилась спать, а на моей тетради
усталый чертик спит, поникнув головой.

Пойду, спущусь к Оке для первого поклона.
Любовь души моей, вдруг твой ослушник — здесь
и смеет говорить: нет воли, нет покоя,
а счастье — точно есть. Это оно и есть.

ПРЕПИРАТЕЛЬСТВА И ПРИМИРЕНИЯ

Вниз, к Оке, упадая сквозь лес,
первоцвет упасая от следа.
Этот, в дрожь повергающий, блеск
мной воспет и добыт из-под снега.

— Я вернулась, Ока! — Ну, так что ж,—
отвечало Оки выраженье.—
Этот блеск, повергающий в дрожь,
не твое, а мое достиженье.

— Но не я ли сподвижник твоих
льда недвижного и ледохода?
— Ты не ведаешь, что говоришь.
Ты жива и ещё не природа.

— Я всю зиму хранила тебя,
словно берег твой третий и тайный.
— Я не знаю тебя. Я текла
самовластно, прохожий случайный.

— Я лишь третьего дня над Курой
без твоих тосковала излучин.
— Кто теплынью отчизны второй
обольщен — пусть уходит, он скучен.

Зачерпнула воды, напилась
нелюбезной и скаредной влаги.

Разделяли Оки неприязнь
раболепные лес и овраги.

Чтоб простили меня — сколько лет
мне осталось? Кукушка умолкла.
О, как мало, овраги и лес!
Как печально, как ярко, как мокро!

Все, что я воспевала зимой,
лишь весну ныне любит, весну лишь.
Благоденствуй, воспетое мной!
Ты воспомнишь меня и возлюбишь.

Возымевшей в бессонном зрачке
заводь мглы, где выводится слово,
без меня будет мало Оке
услаждать полусон рыболова.

— Оглянись! — донеслось.— Оглянись! —
Там ручей упирался в запруду.
Я подумала: цвет медуниц
не забыть описать. Не забуду.

Пред лицом моим солнце зашло.
Справа — Серпухов, слева — Алексин.
— Оглянись! — донеслось.— Ни за что.—
Трижды розово небо над лесом.

Слив двоюродно-близких цветов:
от лилового неотделимы
фиолетовость детских стихов
на полях с отпечатком малины.

Такова ж медуница для глаз,
только синее — гуще и ниже.

Чей-то голос, в который уж раз:
— Оглянись! — умолял.— Оглянись же!

Оглянулась. Закрыла глаза.
Этот блеск, повергающий в ужас
обожанья, я знаю, Ока.
Как ты любишь меня, как ревнуешь!

— О, прости! — я просила Оку.
Я опять поднималась на сцену.
Поклонюсь — и писать не могу,
поглядеть на бумагу не смею.

Неопрятен и славен удел
ведать хладом, внушаемым залу.
Голос мой обольщает людей.
Это грех или долг — я не знаю.

Это страх так отважно поет,
обманув стадион бледнолицый.
Горло алого рваный проем
был ли издали схож с медуницей?

Я лишь здесь совершенно не лгу.
Хоть за это пошли мне прощенья.
Здесь впервые мой след на снегу
я увидела без отвращенья.

Это кто-то хороший стоял,—
я подумала и засмеялась.
Я-то знала, как путник устал,
как ему этой ночью писалось.

Я жалею февраль мой и март.
Сердце как-то задумчиво бьется.

Куковал многократный обман:
время есть! все еще обойдется!

Что сулят мне меж мной и Окой
препирательства и примиренья —
от строки я узнаю другой,
не из этого стихотворенья.

ЛУНА ДО УТРА

Что опыт? Вздор! Нет опыта любви.
Любовь и есть отсутствие былого.
О, как неопытно я жду луны
на склоне дня весны двадцать второго.

Уже темно! И там лишь не темно,
где нежно меркнет розовая зелень.
Ее скончанье и мое окно —
я так стою — соотношу я зреньем.

Соблазн не в том, что схожи цвет и свет —
в окне скучает роза абажура —
меж ними — муки связь: о лампа, нет,
свет изведу, а цвет не опишу я.

Но прежде надо перенесть зарю —
весть тихую о том, что вечность — рядом.
Зари не видя, на печаль мою
окно мое глядит печальным взглядом.

Что, ситцевая роза, заждалась?
Ко мне твоя пылает сердцевина
такою страстью, что — звезда зажглась,
но в схватке вас двоих — не очевидна.

Зажглась предтеча десяти часов.
Страшусь, что помрачневшими глазами

я вытяну луну из-за лесов
иль навсегда оставлю за лесами.

Как поведенье нервов назову?
Они зубами рвут любой эпитет,
до злата прожигают синеву
и причиняют небесам Юпитер.

Здесь, где живу, есть — не скажу: балкон —
гроздь ветхости, нарост распада, или
древесное подобье облаков,
образованье трогательной гнили.

На все на это — выхожу. Вон там,
в той стороне опасность золотая.
Прочь от нее! За мною по пятам
вихрь следует, покров стола взметая.

Переполох испуганных листов
спроста ловлю, словно метель иль стаю.
Верх пекла огнедышит из лесов —
еще сильней и выпуклей, чем знаю.

Вздор — хлад, и желтизна, и белизна.
Что опыт, если все не предвестимо.
Как оборотень, движется луна,
вобрав необратимое светило.

(И, кстати, там, за брезжущей чертой
и лунной ночи, и стихотворенья,
истекшее вот этой краснотой,
я встречу солнце, скрытое от зренья.

Всем полнокровьем выкормив луну,
оно весь день пробудет в блеклых нетях.

Я видела! Я долг ему верну
стихами, что наступят после этих.)

Подъем луны — непросто претерпеть.
Уж мочи нет — все длится проволочка.
Тяжелая, еще осталась треть
иным очам и для меня заочна.

Вот — вся округлость видима. Луну:
взойдет иль нет — уже никто не спросит.
Явилась и зависла. Я люблю
ее привычку медлить между сосен.

Затем, что край обобран чернотой,—
вдруг как-то человечно косовата.
Но не проста! Не попрана пятой
(я знаю: он невинен) космонавта.

Вдруг улыбнусь и заново пойму,
чей в ней так ясен и сохранен гений.
Она всегда принадлежит ему —
имуществом двух маленьких имений.

Немедленно луна меняет цвет
на мутно-серебристый и особый.
Иль просто ей, чтоб продвигаться вверх,
удобно стать бледней и невесомей.

Мне все труднее подступать к окну.
Чтоб за луной угнался провожатый:
влюбленный глаз — я голову клоню
еще левей. А час который? Пятый.

На этом точка падает в тетрадь.
Сплошь темноты — все зримее и реже.
И снова нужно утро озирать —
нежнее и неграмотней, чем прежде.

УТРО ПОСЛЕ ЛУНЫ

Что там с луною — видит лишь стена.
Окно уже увлечено Окою.
Моя луна — иссякла навсегда.
Вы осиянны вечной, но другою.

Подслеповатым пристальным белком
белесый день глядит неблагосклонно.
Я выхожу на призрачный балкон —
он свеж, как описание балкона.

Как я люблю воспетый мной предмет
вновь повстречать, но в роли очевидца.
Он как бы знает, что он дважды есть,
и ластится, клубится и двоится.

Нет ни луны и никаких улик,
что впрямь была. Забывчиво пространство.
Учись, учись, тщеславный ученик,
и, будучи, не помышляй остаться.

Перед лицом — тумана толщина.
У слуха — лишь добычи и удачи:
нежнейших пересвистов толчея,
любви великой маленькие плачи.

Священный шум несуетной возни:
томленье свадеб, добыванье пищи.

О милый мир, отверстый для весны,
как уберечь твое сердечко птичье?

Кому дано собою заслонить
твой детский облик в далях заоконных?
Надежда — что прищуриться ленив
твой смертный час затеявший охотник.

Вдруг раздается краткозвучный гром,
мгновенно-меткий выстрел многоточья:
то дятел занят праведным трудом —
спросонок взмыла паника сорочья.

Он потрясает обомлевший ствол,
чтоб помутился разум насекомых.
Я возвращаюсь и сажусь за стол —
счастливец из существ, им не искомых.

Что я имею? Бывшую луну,
туман и не-событие восхода.
Я обещала солнцу, что верну
долги луны. Что делать мне, природа?

Чем напитаю многоцветье дня,
коль все цвета исчерпаны луною?
Достанет ли для этого меня
и права дальше оставаться мною?

Меж тем — живой и всемогущий блеск
восходит над бессонницей моею.
Который час? Уже неважно. Без
чего-то семь. Торжественно бледнею.

ФЕВРАЛЬСКОЕ ПОЛНОЛУНИЕ

Пять дней назад, бесформенной луны
завидев неопрятный треугольник,
я усмехнулась: дерзок второгодник,
сложивший эти ямы и углы.

Сказала так — и оробела я.
Возможно ли оспорить птицелова,
загадочно изрекшего, что слово
вернуть в силок трудней, чем воробья?

Назад, на двор! Нет, я не солгала.
В ней было меньше стати, чем изъяна.
Она того забыла иль не знала,
чье имя — тайна. Глупая луна!

При ней ютилась прихвостень-звезда.
Был скушен вид их неприглядной связи.
И вялое влиянье чьей-то власти
во сне я отгоняла от виска.

Я не возьму луны какой ни есть.
Своей хочу! Я ей не раб подлунный.
И ужаснулся птицелов: подумай
пред тем, как словом вызвать гнев небес.

И он был прав. Послышалось: — Иди!
— Иду.— Быстрей! — Да уж куда быстрее.

Где валенки мои? — На батарее.
Оставь твой вздор, иди и жди беды.

Эх, валенки! Ваш самотворный бег
привадился к дороге на Пачёво.
Беспечны будем. Гнев небес печется
о нашем ходе через торный снег.

Я глаз не открывала, повредить
им опасаясь тем, что ум предвидел.
Пойдем вслепую — и куда-то выйдем.
Неведом путь. Всевидящ поводырь.

— Теперь смотри.— Из чащи над Окой
она восстала пламенем округлым.
Ту грань ее, где я прозрела угол,
натягивал и насыщал огонь.

Навстречу ей вставал ответный блеск.
Да, это лишь. Все прочее не полно.
Не снес бы глаз блистающего поля,
когда б за ним не скромно-черный лес.

Но есть ли впрямь Пачёво? Есть ли я?
Где обитает тот, чье имя — тайна?
Пусть мимолетность бытия случайна,
есть вечный миг вблизи небытия.

Мой — узнан мною и отпущен мной.
Вот здесь, где шла я в сторону Пачёва,
он без меня когда-нибудь очнется,
в снегах равнин, под полною луной.

Увы, поимщик воробьиных бегств.
Зачем равнинам предвещать равнины?

Но лишь когда слова непоправимы,
устам отверстым оправданье есть.

Мороз и снег выпрашивают слез,
и я не прочь, чтоб слезы заблестели.
Три дня не открывала я постели,
и всяк мне дик, кто спросит: как спалось?

Всю ночь вкруг окон за луной иду.
Вот крайнее. Девятый час в начале.
Сопроводив ее до светлой дали,
вернусь к окну исходному — и жду.

РОД ЗАНЯТИЙ

Упорствуешь. Не хочешь быть. Прощай,
мое стихотворенье о десятом
дне февраля. Пятнадцатый почат
день февраля. Восхода недостаток

мне возместил предутренний не-цвет,
какой в любом я уличаю цвете.
Но эту смесь составил фармацевт,
нам возбранивший думать о рецепте.

В сей день покаюсь пред прошедшим днем.
Как ты велел, мой лютый исповедник,
так и летит мой помысел о нем
черемуховой осыпью под веник.

Печально озираю лепестки —
клочки моих писаний пятинощных.
Я погубитель лун и солнц. Прости.
Ты в этом не повинна, печь-сообщник.

Пусть небеса прочтут бессвязный дым.
Диктанта их занесшийся тупица,
я им пишу, что Сириус — один
у них, но рядом Орион толпится.

Еще пишу: все началось с луны.
Когда-то, помню, я щекою льнула

к чему-то, что не властно головы
угомонить в условьях полнолунья.

Как дальше, печь? Десятое. Темно.
Тень птичьих крыл метнулась из оврага.
Не зря мое главнейшее окно
я в близости зари подозревала.

Нет, Ванька-мокрый не возжег цветка.
Жадней меня он до зари охотник.
Что там с Окой? — Черным-бела Ока,—
мне поклялись окно и подоконник.

Я ринулась к обратному окну:
— А где луна? — ослепнув от мороза,
оно или не видело луну,
или гнушалось глупостью вопроса.

Оплошность дремы взору запретив,
ушла, его бессонницей пресытясь!
Где раболепных букв и запятых
сокрылся самодержец и проситель?

Где валенки? Где двери? Где Ока?
Ум неусыпный — слаб, а любопытен.
Луну сопровождали три огня.
Один и не скрывал, что он — Юпитер.

Чуть полнокружья ночь себе взяла,
но яркости его не повредила.
А час? Седьмой, должно быть, и весьма.
Уж видно, что заря неотвратима.

Я оглянулась, падая к Оке.
Вон там мой Ванька, там мои чернила.

Связь меж луной и лампою в окне
так коротка была, так очевидна.

А там внизу, над розовым едва
(еще слабей... Так будущего лета
нам роза нерасцветшая видна
отсутствием и обещаньем цвета...

в какое слово мысль ни окунем,
заря предстанет ясною строкою,
в конце которой гаснет огонек
в селе, я улыбнулась, за рекою...) —

там блеск вставал и попирал зарю.
Единственность, ты имени не просишь,
и только так тебя я назову.
Лишь множества — не различить без прозвищ.

Но раб, в моей ютящийся крови,
чей горб мою вытягивает ношу,
поднявший к небу черные круги,
воздвигший то, что я порву и брошу,

смотрел в глаза родному божеству.
Сильней и ниже остального неба
сияло то, чего не назову.
А он — молился и шептал: Венера...

Что было дальше — от кого узнать?
На этом и застопорились строки.
Я постояла и пошла назад.
Слепой зрачок не разбирал дороги.

В луне осталось мало зримых свойств.
Глаз напрягался, чтоб ее проведать,

зато как будто прозревал насквозь
прозрачно-беззащитную поверхность.

В девять часов без четверти она
за Паршинское канула заснежье.
Ей нет возврата. Рознь луне луна.
И вечность дважды не встречалась с ней же.

Когда зайдет — нет ничего взамен.
Упустишь — плачь о мире запредельном.
Или воспой, коль хочешь возыметь,—
и плачь о полнолунье самодельном.

В тот день через одиннадцать часов
явилась пеклом выпуклым средь сосен,
и робкий круг, усопший средь лесов,
ей не знаком был, мало — что не сродствен.

К полуночи уменьшилась. Вдоль глаз
промчалась вместе с мраком занебесным.
Укрылась в мутных нетях. Предалась
не пушкинским, а беспризорным бесам.

Безлунно и бесплодно дни текли.
Раб огрызался, обратиться если
с покорной просьбой. Где его стишки?
Не им судить о безымянном блеске.

О небе небу делают доклад.
Дай бездны им! А сами — там, в трясине
былого дня. Его луну догнать
в огне им будет легче, чем в корзине.

Вернусь туда, где и стою: в не-цвет.
Он осторожен и боится сглазу.

Что ты такое? — Сдержанный ответ
не всякий может видеть и не сразу.

Он — нелюдим, его не нарекли
эпитетом. О пылкость междометья,
не восхваляй его и не груби
пугливому мгновенью междуцветья.

Вот-вот вспугнут. Расхожая лыжня
простерта пред зарядкою заядлой.
В столь ранний час сюда тащусь лишь я.
Но что за холод! Что за род занятий!

Устала я. Мозг застлан синевой.
В одну лишь можно истину вглядеться:
тот ныне день, в который Симеон
спас смерть свою, когда узрел младенца.

Приемыш я иль вовсе сирота
со всех сторон глядящего пространства?
Склонись ко мне, о ты, кто сорока
дней от роду мог упокоить старца.

Зов слышался... нет, просьба... нет, мольба...
Пришла! Но где была? Что с нею сталось?
Иль то усталость моего же лба,
восплывши в небо, надо мной смеялась?

Полу-луна изнемогала без
полу-луны. Где раздобыть вторую?
Молчи, я знаю, счетовод небес!
Твоя — при ней, я по своей горюю.

Но весело взбиралась я на холм.
Испуг сорочий ударял в трещотки.

И, пышущих здоровьем и грехом,
румяных лыжниц проносились щеки.

На понедельник сретенье пришлось
и нас не упасло от встреч никчемных.
Сосед спросил: «Как нынче вам спалось?»
Что расскажу я о моих ночевьях?

Со мной в соседях — старый господин.
Претерпевая этих мест унынье,
склоняет он матерьялизм седин
и в кушанье, и в бесполезность книги.

Я здесь давно. Я приняла уклад
соседств, и дружб, и вспыльчивых объятий.
Но странен всем мой одинокий взгляд
и непонятен род моих занятий.

ВОСЛЕД 27 ДНЮ ФЕВРАЛЯ

День пред весной, мне жаль моей зимы,
чей гений знал, где жизнь мою припрятать.
Не предрекай теплыни, не звени,
ты мне грустна сегодня, птичья радость.

Мне жаль снегов, мне жаль себя в снегах,
Оки во льду и полыньи отверстой,
и радости, что дело не в стихах,
а в нежности к пространству безответной.

Ах, нет, не так, не с тем же спорить мне,
кто звал и знал ответа благосклонность.
День-божество, повремени в окне,
что до меня — я от тебя не скроюсь.

В седьмом часу не остается дня.
Красно-синё окошко ледяное.
День-божество, вот я, войди в меня,
лишь я — твое прибежище ночное.

Воскресни же — ты воскрешен уже.
Велик и леп, восстань великолепным.
Я повторю и воздымлю в уме
твой первый свет в моем окошке левом.

Вновь грозно-нежен разворот небес
в знак бедствий всех и вместе благоденствий.

День хочет быть — день скоро будет — есть
солнце-морозный, все точь-в-точь: чудесный.

Грядущее грядет из близи. Что ж,
зато я знаю выраженье сосен,
когда восходит то, чего ты ждешь,
и сердце еле ожиданье сносит.

Все распростерто перед ним, все — ниц.
Ему не в труд, свет разметав по крышам,
пронзить цветка прозрачный организм,
который люди Ванькой-мокрым кличут.

Да, о растенье. Возлюбив его,
с утра смеюсь: кто, Ваня милый, вы-то?
Сердечком влажным это существо
в меня всмотрелось и ко мне привыкло.

Мы с ним вдвоем в обители моей
насквозь провидим ясную погоду.
День пред весной все шире, все вольней.
Внизу мне скажут: дело к ледоходу.

Лед, не ходи! Хоть и весна почти,
земли прочна и глубока остуда.
Мне жаль того, поверх воды, пути
в Поленово, наискосок отсюда.

Я выхожу. Морозно и тепло.
Мне говорят, что дело к ледоходу.
Грущу и рада: утром с крыш текло —
я от воды отламываю воду.

Иду в Пачёво, в деревушку. Во-он
она дымит: добра и пусторука.

К ней влажен глаз, и слух в нее влюблен.
Под горку, в горку, роща и — Таруса.

Я б шла туда, куда глаза вели,
когда б не ты, кого весна тревожит.
Все ты да ты, все шалости твои:
там, впереди,— художник и треножник.

Я не хочу свиданье их спугнуть.
И кто я им, воссоздавая втуне
их поз взаимность, синий санный путь,
себя — пятно, мелькнувшее в этюде?

Им оставляю блеск и синеву.
Цвет никакой не скуден и не тесен.
А я? Каким я день мой назову?
Мне сказано уже, что он — чудесен.

Грядами леса спорят об Оке
ответный берег с этим вот, пологим.
Те двое грациозных вдалеке
все заняты круженьем многоногим.

День пред весной, снега мой след сотрут.
Ты дважды жил и не узнал об этом.
В окне моем Юпитер и Сатурн
сейчас в соседях. Говорят, что — к бедам.

ДЕНЬ 12 МАРТА

Дни марта меж собою не в родстве.
Двенадцатый — в нем гость или подкидыш.
Черты чужие есть в его красе,
и март: «Эй, март!» — сегодня не окликнешь.

День — в зиму вышел нравом и лицом:
когда с холмов ее снега поплыли,
она его кукушкиным яйцом
снесла под перья матери-теплыни.

Я нынче глаз не отпускала спать —
и как же я умна, что не заснула!
Я видела, как воля Дня и стать
пришли сюда, хоть родом не отсюда.

Дню доставало прирожденных сил
и для восхода, и для снегопада.
И слышалось: «О нареченный сын,
мне боязно, не восходи, не надо».

Ему, когда он челядь набирал,
все, что послушно, явно было скушно.
Зачем поземка, если есть буран?
Что в бледной стыни мыкаться? Вот — стужа.

Я, как известно, не ложилась спать.
Вернее, это Дню и мне известно.

Дрожать и зубом на зуб не попасть
мне как-то стало вдруг не интересно.

Я было вышла, но пошла назад.
Как не пойти? Описанный в тетрадке,
Для нынешнего пред...— скажу: пред-брат —
оставил мне наследье лихорадки.

Минувший день, прости, я солгала!
Твой гений — добр. Сама простыла, дура,
и провожала в даль твои крыла
на зябких крыльях зыбкого недуга.

Хворь — боязлива. Ей невмоготу
теперь окна красу и зазыванье —
в блеск бытия вперяет слепоту,
со страхом слыша бури завыванье.

Устав смотреть, как слишком сильный День
гнет сосны, гладит против шерсти ели,
я без присмотра бросила метель
и потащилась под присмотр постели.

Проснулась. Вышла. Было семь часов.
В закате что-то слышимое было,
но тихое, как пенье голосов:
«Прощай, прощай, ты мной была любима».

О, как сквозь чернь березовых ветвей
и сквозь решетку... там была решетка —
не для красы, а для других затей,
в честь нищего какого-то расчета...

сквозь это все сияющая весть
о чем-то высшем — горем мне казалась.

Нельзя сказать: каков был цвет. Но цвет
чуть-чуть был розовей, чем несказанность.

Вот участь совершенной красоты:
чуть брезжить, быть отсутствия на грани.
А прочего всего — грубы черты.
Звезда взошла не как всегда, а ране.

О День, ты — крах или канун любви
к тебе, о День? Уж видно мне и слышно,
как блещет в небе ровно пол-луны:
все — в меру, без изъяна, без излишка.

Скончаньем Дня любуется слеза.
Мороз: слезу содеешь, но не выльешь.
Я ничего не знаю и слепа.
А божий день — всезнающ и всевидящ.

ВОСЛЕД 27 ДНЮ МАРТА

У пред-весны с весною столько распрей:
дождь нынче шел и снегу досадил.
Двадцать седьмой, предайся, мой февральский,
объятьям — с марта днем двадцать седьмым.

Отпразднуем, погода и погода,
наш тайный праздник, круглое число.
Замкнулся круг игры и хоровода:
дождливо-снежно, холодно-тепло.

Внутри, не смея ничего нарушить,
кружусь с прозрачным циркулем в руке
и белую пространную окружность
стесняю черным лесом вдалеке.

Двадцать седьмой, февральский, несравненный,
посол души в заоблачных краях,
герой стихов и сирота вселенной,
вернись ко мне на ангельских крылах.

Благодарю тебя за все поблажки.
Просила я: не отнимай зимы! —
теплыни и сиянья неполадки
ты взял с собою и убрал с земли.

И все, что дале делала природа,
вступив в открытый заговор со мной,—

не пропустив ни одного восхода,
воспела я под разною луной.

Твой нынешний ровесник и соперник
был мглист и долог, словно времена,
не современен марту и сиренев,
в куртины мрака спрятан от меня.

Я шла за ним! Но — чем быстрей аллея
петляла в гору, пятясь от Оки,
тем боязливей кружево белело,
тем дальше убегали башмачки.

День уходил, не оставляя знака,—
то, может быть, в слезах и впопыхах,
Ладыжина прекрасная хозяйка
свой навещала разоренный парк.

Закат исполнен женственной печали.
День медленно скрывается во мгле —
пять лепестков забытой им перчатки
сиренью увядают на столе.

Опять идет четвертый час другого
числа, а я — не вышла из вчера.
За днями еженощная догонка:
стихи — тесна всех дней величина.

Сова? Нет! Это вышла из оврага
большая сырость и вошла в окно,
согрелась — и отправился обратно
невнятно-белый неизвестно кто.

Два дня моих, два избранных любимца,
останьтесь! Нам — расстаться не дано.

Пусть наша сумма бредит и клубится:
ночь, солнце, дождь и снег — нам все равно.

Трепещет соглядатай-недознайка!
Здесь странная компания сидит:
Ладыжина прекрасная хозяйка,
я, ночь и вы, два дня двадцать седьмых.

Как много нас! — а нам еще не вдосталь.
Новь жалует в странноприимный дом.
И то, во что мне утро обойдется,—
я претерплю. И опишу — потом.

РЕВНОСТЬ ПРОСТРАНСТВА

Объятье — вот занятье и досуг.
В семь дней иссякла маленькая вечность.
Изгиб дороги — и разъятье рук.
Какая глушь вокруг, какая млечность.

Здесь поворот — но здесь не разглядеть
от Паршина к Тарусе поворота.
Стоит в глазах и простоит весь день
все-белизны сплошная поволока.

Даль — в белых нетях, близь — не глубока,
она — белка, а не зрачка виденье.
Что за Окою — тайна, и Ока —
лишь знание о ней иль заблужденье.

Вплотную к зренью поднесен простор,
нет, привнесен, нет, втиснут вглубь, под веки,
и там стеснен, как непомерный сон,
смелее яви преуспевший в цвете.

Вход в этот цвет лишь ощупи отверст.
Не рыщу я сокрытого порога.
Какого рода белое окрест,
если оно белее, чем природа?

В открытье — грех заглядывать уму,
пусть ум поможет продвигаться телу

и встречный стопор взору моему
зовет, как все его зовут: метелью.

Сужает круг все сущее кругом.
Белеют вместе цельность и подробность.
Во впадине под ангельским крылом
вот так бело и так темно, должно быть.

Там упасают выпуклость чела
от разноцветья и непостоянства.
У грешного чела и ремесла
нет сводника лютее, чем пространство.

Оно — влюбленный соглядатай мой.
Вот мучит белизною самодельной,
но и прощает этой белизной
вину моей отлучки семидневной.

Уж если ты себя творишь само,
скажи: в чем смысл? в чем тайное веленье?
Таруса где? где Паршино-село?
Но, скрытное, молчит стихотворенье.

МИЛОСТЬ ПРОСТРАНСТВА

Я описала марта день девятый —
см. где-то здесь, где некому смотреть.
Вот перечень его примет невнятный:
застой снегов и снега круговерть.

В нем все отвесно и ничто не навзничь.
Восстал хребет последней пред-весны.
Тот цвет, что белым мною вкратце назван,—
сильней и безымянней белизны.

Неодолима вздыбленная плоскость.
Ямщик всевластью вьюги подлежит.
Но в этот раз ее провидит лошадь,
чей гений — прыток и домой бежит.

Конь, мной воспетый и меня везущий,
тягается с воспетыми не мной,
пока, родной мой, вечно-однозвучный,
не от наслышки слышу голос твой.

Все так и было в дне девятом марта.
Равна моим чернилам белизна:
в нее их тщаньем ни одна помарка
развязно не была привнесена.

Как школьник в труд радивого соседа
шлет глаз крадущий, я взяла себе

у дня — весь день, все поведенье снега
и песнь похмелья в Паршине-селе.

На измышленья разум сил не тратил:
вздымалось поле и метель мела.
Лишь ты придуман, призрачный читатель.
Но ты мне нужен, выдумка моя.

Сам посуди: про марта день девятый
еще моих ты не прочел стихов,
а я, под утро, из теплыни ватной
кошусь в окно: десятый день каков?

Его восход внушает беспокойство:
как бы меня во сне не провели
влиянья неба, шлющие с откоса
зеленый свет в зеницу полыньи.

Капель-крикунья, потакая марту,
навзрыд вещает. Ярко лжет окно,
что опыт белой росписи по мраку
им не изведан иль забыт давно.

На улицу! Но валенки не в зиму,
а в лужу вводят. Некому пенять.
На вешнюю нездешнюю резину
мой верный войлок надобно менять.

Опять иду. Я верю косогору.
Он знает все про то, что за Окой.
Пал занавес. И слепнущему взору
даль предстает младою и нагой.

Над всем, что было прочно и парчово,
хихикнул чей-то синий голосок.

Тарусы — сквозь прозрачное Пачёво —
вон крайний дом, не низок, не высок.

Я слышу смех пространства и кого-то,
кто снег убрал и посылает свет.
Как подступают к сердцу жизнь и воля,
когда смеется тот, кто милосерд.

Так думаю — в каком это? — в четвертом
часу. Часы и я удивлены.
Усилен воздух нежным и нетвердым
сияньем, равным четверти луны.

Еще пишу: отвьюжило, отмглилось,
Оке наскучил закадычный лед.
Но в это время чья-то власть и милость
«Спи!» — говорит и мой целует лоб.

СТРОГОСТЬ ПРОСТРАНСТВА

Что марту дни его: девятый и десятый?
А мне их жаль терять и некогда терять.
Но кто это еще, и словно бы с досадой,
через плечо мое глядит в мою тетрадь?

Одиннадцатый, ты? Смещая очередность,
твой третий час уже я трачу на вчера.
До света досижу и дольше — до черемух,
чтоб наспех не сказать, как стала ночь черна.

А где твоя луна? Ведь только что сияла.
Сияет — но моя, взращенная в стихах.
Да ты, я вижу, крут. Там, где вода стояла,
ты льдины в память льдин возводишь впопыхах.

Я пререкалась с днем как со знакомцем новым —
он знать меня не знал. Он укреплял Оку.
Он сызмальства зари был взрослым и суровым.
Все вензели зимы он возвратил окну.

Он строго проверял: морозно ли? бело ли? —
и на лету сгубил слабейшую из птах.
Он строил из воды умершее былое,
как будто воскрешал храм, обращенный в прах.

День стужу затевал и делал, что затеял:
вязал ручьи узлом, доверье верб терзал.

То гением глядел, то взглядывал злодеем.
Что б ты о нем сказал, который все сказал?

Когда я, как всегда, отправилась в Пачёво,
меня, как свой пустяк, он зашвырнул домой.
Я больше дням твоим, март, не веду подсчета.
Вот воспеватель твой: озябший и больной.

Меж дней твоих втеснюсь в укромный промежуток.
Как сумрачно глядит пространство-нелюдим!
Оно шалит само, но не приемлет шуток.
Несдобровать тому, кто был развязен с ним.

В ночи взывают к дню чернила и бумага.
Мне жаль, что преступил полночную черту
День — выродок из дней, хоть выходец из марта,
один, словно поэт — всегда чужой в роду.

Особенный закат он причинил природе:
уж не было зари, а все была видна.
Стихами о его трагическом уходе
я возвещу восход двенадцатого дня.

СВЕТ И ТУМАН

Сколь ни живи, сколь ни учи наук —
жизнь знает, как прельстить и одурачить,
и робкий неуч, молвив: «Это — луг»,—
остолбенев глядит на одуванчик.

Нельзя привыкнуть и нельзя понять.
Жизнь — знает нас, а мы ее — не знаем.
Ее надзором, в занебесном «над»
исток берущим, всяк насквозь пронзаем.

Мгновенье ока — вдохновенье губ —
в сей миг проник наш недалекий гений,
но пред вторым — наш опыт кругло глуп:
сплошное время — разнобой мгновений.

Соседка капля — капле не близнец,
они похожи, словно я и кто-то.
Два раза одинаково блестеть
не станет то, на что смотрю с откоса.

Всегда мне внове невидаль окна.
Его читатель вечный и работник,
робею знать, что значат письмена,—
и двадцать раз уже я второгодник.

Вот — ныне, в марта день двадцать шестой,
я затемно взялась за это чтенье.

На языке людей: туман густой.
Но гуще слова бездны изъявленье.

Какая гордость и какая власть —
себя столь скрытной охранить стеною.
И только галки промельк мимо глаз
не погнушался свидеться со мною.

Цвет в просторечье назван голубым,
но остается анонимно-большим.
На таковом — малина и рубин —
мой нечванливый Ванька-мокрый ожил.

Как бы светает. Но рассвета рост
не снизошел со зрителем якшаться.
Есть в мартовской понурости берез
особое уныние пред-счастья.

Как все неизымаемо из мглы!
Грядущего — нет воли опасаться.
Вполоборота, ласково: «Не лги!» —
и вновь собою занято пространство.

РАССВЕТ

Светает раньше, чем вчера светало.
Я в шесть часов проснулась, потому что
в окне — так близко, как во мне —
вещáя,
капель бубнила, предсказаньем муча.

Вот голосок, разорванный на всхлипы,
возрос в струю и в стройное стенанье.
Маслины цвета превратились в сливы:
вода синеет на столе в стакане.

Рассвет все гуще набирает силу,
бросает в снег и в слух синичью стаю.
Зрачки, наверно, выкрашены синью,
но зеркало синё — я не узнаю.

Так совершенно наполненье зренья,
что не хочу зари, хоть долгожданна.
И — ненасытным баловнем мгновенья —
смотрю на синий томик Мандельштама.

ЧЕРЕМУХА

Когда влюбленный ум был мартом очарован,
сказала: досижу, чтоб ночи отслужить,
до утренней зари, и дольше — до черемух,
подумав: досижу, коль бог пошлет дожить.

Сказала — от любви к немыслимости срока,
нюх в имени цветка не узнавал цветка.
При мартовской луне чернела одиноко —
как вехи сквозь метель — простертая строка.

Стих обещал, а бог позволил — до черемух
дожить и досидеть: перед лицом моим
сияет бледный куст, так уязвим и робок,
как будто не любим, а мучим и гоним.

Быть может, он и впрямь терзаем обожаньем.
Он не повинен в том, что мной предрешено.
Так бедное дитя отцовским обещаньем
помолвлено уже, еще не рождено.

Покуда, тяжко пав на южные ограды,
вакхически цвела и нежилась сирень,
Арагву променять на мрачные овраги
я в этот раз рвалась: о, только бы скорей!

Избранница стиха, соперница Тифлиса,
сейчас из лепестков, а некогда из букв!

О, только бы застать в кулисах бенефиса
пред выходом на свет ее младой испуг.

Нет, здесь еще свежо, еще не могут вётлы
потупленных ветвей изъять из полых вод.
Но вопрошал мой страх: что с нею? не цветет ли?
Сказали: не цветет, но расцветет вот-вот.

Не упустить ее пред-первое движенье —
туда, где спуск к Оке становится полог.
Она не расцвела! — ее предположенье
наутро расцвести я забрала в полон.

Вчера. Немного тьмы. И вот уже: сегодня.
Слабеют узелки стесненных лепестков —
и маленького рта желает знать зевота:
где свеже-влажный корм, который им иском.

Очнулась и дрожит. Над ней лицо и лампа.
Ей стыдно расцветать во всю красу и стать.
Цветок, как нагота разбуженного глаза,
не может разглядеть: зачем не дали спать.

Стих, мученик любви, прими ее немилость!
Что раболепство ей твоих-моих чернил!
О, эта не из тех, чья верная взаимность
объятья отворит и скуку причинит.

Так ночь, и день, и ночь склоняюсь перед нею.
Но в чем далекий смысл той мартовской строки?
Что с бедной головой? Что с головой моею?
В ней, словно мотыльки, пестреют пустяки.

Там, где рабочий пульс под выпуклое темя
гнал надобную кровь и управлялся сам,

там впадина теперь, чтоб не стеснять растенья,
беспамятный овраг и обморочный сад.

До утренней зари... не помню... до чего-то,
к чему не перенесть влеченья и тоски,
чей паутинный клей... чья липкая дремота
висит между висков, где вязнут мотыльки...

Забытая строка во времени повисла.
Пал первый лепесток, и грустно, что — к теплу.
Всегда мне скушен был выискиватель смысла,
и угодить ему я не могу: я сплю.

ЧЕРЕМУХА ТРЕХДНЕВНАЯ

Три дня тебе, красавица моя!
Не оскудел твой благородный холод.
С утра Ольга Ивановна приходит:
— Ты угоришь! Ты выйдешь из ума!

Вождь белокурый странных дум, три дня
твои я исповедовала бредни.
Пора очнуться. Уж звонят к обедне.
Нефедов нынче снова у меня.

— Все так и есть! Душепогубный цвет
смешал тебя! Какой еще Нефедов?
— Почуевский ученый барин: с вёдром
нас поздравлял как добрый наш сосед.

— Что делает растенье-озорник!
Тут чей-то глаз вмешался, чья-то зависть.
— Мне все, Ольга Ивановна, казалось,—
к чему это? — что дом его сгорит.

Так было жаль улыбчивых усов,
и чесучи по-летнему, и трости.
Как одуванчик — кружевные гостьи
развеются, все ветер унесет.

— Уж чай готов. А это, что свело
тебя с ума, я выкину, однако.

И выгоню Нефедова.— Не надо.
Все — мимолетно. Все пройдет само.

— Тогда вставай.— Встаю. Какая глушь
в уме моем, какая лень и лунность.
Я так, Ольга Ивановна, люблю вас,
что поневоле слог мой неуклюж.

Пьем чай. Ольга Ивановна такой
выискивает позы, чтобы глазом
заботливым в мой поврежденный разум
удобней было заглянуть тайком.

Как чай был свеж! Как чудно мед горчил!
Как я хитра! — ни чаем и ни медом
не отвлеклась от знанья, что Нефедов
изящно-грузно с дрожек соскочил.

С Нефедовым мы долго говорим
о просвещенье и, при встрече рюмок,
о мрачных днях отечества горюем
и вялое правительство браним.

Конечно, о Толстом. Мы, кстати, с ним
весьма соседи: Серпухов и Тула.
Затем, гнушаясь низменностью стула,—
о будущем, чей свет неодолим.

О, кто-нибудь, спроси меня о том...—
нет никого! — мне все равно! пусть спросит:
— Про вас все ясно. Но Нефедов сродствен
вам почему? Ведь он-то — здрав умом?

— О, совершенно. Вся его родня
известна здравомыслием, и сам он

сдавал по электричеству экзамен.
Но — и его черемухе три дня.

Нет никого — так пусть молчат. Скорей!
Нефедов милый, это вы сказали,
что прельщены зелеными глазами
Цветаева двух юных дочерей?

Да, зеленью под сильной кручей лба,
как и сказал, он был прельщен! А как же
не быть? Заметно: старшей, музыкантше,
назначена счастливая судьба.

— Я б их привел, но — зябкая весна
и, кажется, они теперь на водах.
— Они в Нерви. Да и нельзя, Нефедов,
не надобно: их матушка больна.

Ушел. Ольга Ивановна вошла.
Лишь глянула — и сразу укорила:
— Да чем же ты Нефедова кормила?
Ей-ей, ты не в себе, моя душа.

— Он вам знаком? — Еще бы не знаком!
Предобрый, благородный, только — нервный.
Хвала моей черемухе трехдневной!
Поздравьте нас с ее четвертым днем.

Он начался. Как зелены леса!
Зеленым светом воды полыхнули.
Иль это созерцают полнолунье
двух девочек зеленые глаза?

ЧЕРЕМУХА ПРЕДПОСЛЕДНЯЯ

Пока черемухи влиянье
на ум — за ум я приняла,
что сотворим — она ли, я ли —
в сей месяц май, сего числа?

Души просторную покорность
я навязала ей взамен
отчизн откосов и околиц,
кладбищ и монастырских стен.

Все то, что целая окрестность
вдыхает,— я берусь вдохнуть.
Дай задохнуться, дай воскреснуть
и умереть — дай что-нибудь.

Владей — я не тесней округи,
не бойся́ — я странней людей,
возьми меня в рабы иль в други
или в овраги — и владей.

Какой мне вымысел надышишь?
Свободная повелевать,
что сочинишь и что напишешь
моей рукой в мою тетрадь?

К утру посмотрим — а покуда
окуривай мои углы.

В средине замкнутого круга —
любовь или канун любви.

Нет у тебя другого знанья:
для вечных наущений двух,
для упованья и терзанья
цветет твой болетворный дух.

Уже ты насылаешь птицу,
чье имя в тайне сохраню,
что не снисходит к очевидцу,
чей голос не сплошной сравню

с обрывом сердца, с ожиданьем
соседней бездны на краю,
для пробы, с любопытством дальним,
на миг втянувшей жизнь мою

и отпустившей,— ей не надо
того, чему не вышел срок.
Но вот ее привет из сада
донесся, искусил и смолк.

Во что, черемуха, играем —
я помню, знаю, что творим.
Уж я томлюсь недомоганьем
всемирно-сущим — как своим.

Твой запах — вкрадчивая сводня,—
луна и птицы ведовство
твердят, что именно сегодня,
немедленно... но что? да все!

Вся жизнь, все разрыванье сердца —
сейчас, не припасая впрок.

Двух зорь сплоченное соседство
теснит мой заповедный срок.

Но пагубою приворота
уста я напитаю чьи?
Нет гостя, кроме самолета
в необитаемой ночи.

Продлится за моею шторой
запинка быстрых двух огней,
та доля вечности, которой
довольно выдумке моей.

Что Паршино ему, Пачёво,
Ладыжино, Алекино?
Но сердце летчика ночного
уже любить обречено

свет неразборчивый. Отныне
он станет волен, странен, дик.
Его отринут все родные.
Он углубится в чтенье книг.

Помолвку разорвет, в отставку
подаст — нельзя! — тогда в Чечню,
в конец недоуменья, в схватку,
под пулю, неизвестно чью.

Любым испытано, как властно
влечет нас островерхий снег.
Но сумрачный прищур Кавказа
мирволит нам в наш скушный век.

Его пошлют, но в санаторий.
Печаль, печаль. Наверняка

от лютой мирности снотворной
он станет пить. Тоска, тоска.

Нет, жаль мне летчика. Движеньем
давай займем его другим.
Спасем, повысим в чине, женим,
но прежде — разминемся с ним.

Черемуха, на эти шутки
не жаль растраты бытия.
Светает. Как за эти сутки
осунулись и ты, и я.

Слабеет дух твой чудотворный.
Как трогательно лепестки
в твой день предсмертный,
в твой четвертый
на эти падают стихи.

Весной, в твоих оврагах отчих,
не знаю: свидимся ль опять?
Несется невредимый летчик
ночного измышленья вспять.

Пошли ему не ведать муки.
А мне? Дыханья перебой
привносит птица в грусть разлуки
с тобой, и только ли с тобой?

Дай что-нибудь! Дай обещанья!
Дай не принять мой час ночной
за репетицию прощанья
со всем, что так любимо мной.

ИГРЫ И ШАЛОСТИ

Мне кажется, со мной играет кто-то.
Мне кажется, я догадалась — кто,
когда опять усмешливо и тонко
мороз и солнце глянули в окно.

Что мы добавим к солнцу и морозу?
Не то, не то! Не блеск, не лед над ним.
Я жду! Отдай обещанную розу!
И роза дня летит к ногам моим.

Во всем ловлю таинственные знаки,
то след примечу, то заслышу речь.
А вот и лошадь запрягают в санки.
Коль ты велел — как можно не запречь?

Верней — коня. Он масти дня и снега.
Не все ль равно! Ты знаешь сам, когда:
в чудесный день! — для усиленья бега
ту, что впрягли, ты обратил в коня.

Влетаем в синеву и полыханье.
Перед лицом — мах мощной седины.
Но где же ты, что вот — твое дыханье?
В какой союз мы тайный сведены?

Как ты учил — так и темнеет зелень.
Как ты любил — так и поют в избе.

Весь этот день, твоим родным изделье́м,
хоть отдан мне,— принадлежит тебе.

А ночью — под угрюмо-голубою,
под собственной твоей полу-луной —
как я глупа, что плачу над тобою,
настолько сущим, чтоб шалить со мной.

ПРОГУЛКА

Как вольно я брожу, как одиноко.
Оступишься — затянет небосвод.
В рассеянных угодьях Ориона
не упастись от мысли обо всем.

— О чем, к примеру? — Кто так опрометчив,
чтоб спрашивать? Разъятой бездны средь
нам приоткрыт лишь маленький примерчик
великой тайны: собственная смерть.

Привнесена подробность в бесконечность —
роднее стал ее сторонний смысл.
К вселенной недозволенная нежность
дрожаньем спектров виснет меж ресниц.

Еще спросить возможно: Пушкин милый,
зачем непостижимость пустоты
ужасною воображать могилой?
Не лучше ль думать: это там, где ты.

Но что это чернеет на дороге
злей, чем предмет, мертвей, чем существо?
Так оторопь коню вступает в ноги
и рвется прочь безумный глаз его.

— Позор! Иди! Ни в чем не виноватый
там столб стоит. Вы столько раз на дню

встречаетесь, что поля завсегдатай
давно тебя считает за родню.

Чем он измучен? Почему так страшен?
Что сторожит среди пустых равнин?
И голосом докучливым и старшим
какой со мной наставник говорит?

— О чем это? — Вот самозванца наглость:
моим надбровным взгорбьем излучен,
со мною же, бубня и запинаясь,
шептаться смел — и позабыл о чем!

И раздается добрый смех небесный:
вдоль пропасти, давно примечен ей,
кто там идет вблизи всемирных бедствий
окраиной своих последних дней?

Над ним — планет плохое предсказанье.
Весь скарб его — лишь нищета забот.
А он, цветными упоен слезами,
столба боится, Пушкина зовет.

Есть что-то в нем, что высшему расчету
не подлежит. Пусть продолжает путь.
И нежно-нежно дышит вечность в щеку,
и сладко мне к ее теплыни льнуть.

ПАЛЕЦ НА ГУБАХ

По улице крадусь. Кто бедный был Алферов,
чьим именем она наречена? Молчи!
Он не чета другим, замешанным в аферах,
к владениям чужим крадущимся в ночи.

Весь этот косогор был некогда кладбищем.
Здесь Та хотела спать... не надобно! не то —
опять возьмутся мстить местам, ее любившим.
Тсс: палец на губах! — забылось, пронесло.

Я летом здесь жила. К своей же тени в гости
зачем мне не пойти? Колодец, здравствуй, брат.
Алферов, будь он жив, не жил бы на погосте.
Ах, не ему теперь гнушаться тем, что прах.

А вот и дом чужой: дом-схимник, дом-изгнанник.
Чердачный тусклый круг — его зрачок и взгляд.
Дом заточен в себя, как выйти — он не знает.
Но как душа его вокруг свободен сад.

Сад падает в Оку обрывисто и узко.
Но оглянулся сад и прянул вспять холма.
Дом ринулся ко мне, из цепких стен рванулся —
и мне к нему нельзя: забор, замок, зима.

Дом, сад и я — втроем причастны тайне важной.
Был тих и одинок наш общий летний труд.
Я — в доме, дом — в саду, сад — в сырости овражной,
вдыхала сырость я — и замыкался круг.

Футляр, и медальон, и тайна в медальоне,
и в тайне — тайна тайн, запретная для уст.
Лишь смеркнется — всегда слетала к нам Тальони:
то флоксов повисал прозрачно-пышный куст.

Террасу на восход — оранжевым каким-то
затмили полотном, усилившим зарю.
У нас была игра: где потемней накидка? —
смеялась я,— пойду калитку отворю.

Пугались дом и сад. Я шла и отворяла
калитку в нижний мир, где обитает тень,—
чтоб видеть дом и сад из глубины оврага
и больше ничего не видеть, не хотеть.

Оранжевый, большой, по прозвищу: мещанский —
волшебный абажур сиял что было сил.
Чтобы террасы цвет был совершенно счастлив,
оранжевый цветок ей сад преподносил.

У нас — всегда игра, у яблони — работа.
Знал беспризорный сад и знал бездомный дом,
что дом — не для житья, что сад — не для оброка,
что дом и сад — для слез, для праведных трудов.

Не ждали мы гостей, а наезжали если —
дом лгал, что он — простак, сад начинал грустить

и делал вид, что он печется о семействе
и надобно ему идти плодоносить.

Съезжали! — и тогда, как принято: от печки —
пускались в пляс все мы и тени на стене.
И были в эту ночь прилежны и беспечны
мой закадычный стол и лампа на столе.

Еще там был чердак. Пока не вовсе смерклось,
дом, сад и я — на нем летали вдаль, в поля.
И белый парус плыл: то бёховская церковь,
чтоб нас перекрестить, через Оку плыла.

Вот яблони труды завершены. Для зренья
прелестны их плоды, но грустен тот язык,
которым нам велят глухие ударенья
с мгновеньем изжитым прощаться каждый миг.

Тальони, дождь идет, как вам снести понурость?
Пока овраг погряз в заботах о грибах,
я книгу попрошу, чтоб Та сюда вернулась,
чьи эти дом и сад... тсс: палец на губах.

К делам других садов был сад не любопытен.
Он в золото облек тот дом внутри со мной
так прочно, как в предмет вцепляется эпитет.
(В саду расцвел пример: вот шар, он — золотой.)

К исходу сентября приехал наш хозяин,
вернее, только их. Два ужаса дрожат,
склоняясь перед тем, кто так и не узнает,
какие дом и сад ему принадлежат.

На дом и сад моя слеза не оглянулась.
Давно пора домой. Но что это: домой?

Вот почему средь всех на свете сущих улиц
мне ваша так мила, Алферов, милый мой.

Косится домосед: что здесь прохожим надо?
Кто низко так глядит, как будто он горбат?
То — я. Я ухожу от дома и от сада.
Навряд ли я вернусь. Тсс: палец на губах...

САД-ВСАДНИК

За этот год,
за этот бред
пошли мне сад
на старость лет.

Марина
Цветаева

Сад-всадник летит по отвесному склону.
Какое сверканье и буря какая!
В плаще его черном лицо мое скрою,
к защите его старшинства приникая.

Я помню, я знаю, что дело нечисто.
Вовек не бывало столь позднего часа,
в котором сквозь бурю он скачет и мчится,
в котором сквозь бурю один уже мчался.

Но что происходит? Кто мчится, кто скачет?
Где конь отыскался для всадника сада?
И нет никого, но приходится с каждым
о том толковать, чего знать им не надо.

Сад-всадник свои покидает угодья,
и гриву коня в него ветер бросает.
Одною рукою он держит поводья,
другою мой страх на груди упасает.

О сад-охранитель! Невиданно львиный
чей хвост так разгневан? Чья блещет корона?

— Не бойся! То — длинный туман над равниной,
то — желтый заглавный огонь Ориона.

Но слышу я голос насмешки всевластной:
— Презренный младенец за пазухой отчей!
Короткая гибель под царскою лаской —
навечнее пагубы денной и нощной.

О всадник-родитель, дай тьмы и теплыни!
Вернемся в отчизну обрыва-отшиба!
С хвостом и в короне смеется: — Толпы ли,
твои ли то речи, избранник-ошибка?

Другим не бывает столь позднего часа.
Он впору тебе. Уж не будет так поздно.
Гнушаюсь тобою! Со мной не прощайся!
Сад-всадник мне шепчет: — Не слушай, не бойся.

Живую меня он приносит в обитель
на тихой вершине отвесного склона.
О сад мой, заботливый мой погубитель!
Зачем от Царя мы бежали Лесного?

Сад делает вид, что он — сад, а не всадник,
что слово Лесного Царя отвратимо.
И нет никого, но склоняюсь пред всяким:
все было дано, а судьбы не хватило.

Сад дважды играет с обрывом родимым:
с откоса в Оку, как пристало изгою,
летит он ныряльщиком необратимым
и увальнем вымокшим тащится в гору.

Мы оба притворщики. Полночью черной,
в завременье позднем, сад-всадник несется.
Ребенок, Лесному Царю обреченный,
да не убоится, да не упасется.

НЕПОСЛУШАНИЕ ВЕЩЕЙ

Что говорить про вольный дух свечей —
все подлежим их ворожбе и сглазу.
Иль неодушевленных нет вещей,
иль мне они не встретились ни разу.

У тех, что мне известны,— норов крут.
Не перечесть их вспыльчивых поступков.
То пропадут, то невпопад придут,
свой тайный глаз сокрыв, но и потупив.

Сейчас вот потешались надо мной:
В е щ ь — щелкала не для, а вместо света
и заточённый в трубы водяной
не дал воды и задрожал от смеха.

Всю эту ночь, от хваткости к стихам,
включатель тьмы пощелкивал над слухом,
просил воды назойливый стакан
и жадный кран, как щедрый филин, ухал.

Удел вещей: спешить куда-то вдаль.
Вчера, под вечер, шаль мне подарили —
под утро зябнет и скучает шаль,
ей невтерпеж обнять плеча другие.

Я понукаю их свободный бег —
пусть будет пойман чьей-нибудь рукою,

как этот вольный быстротечный снег,
со всех холмов сзываемый Окою.

Я не умела вещи приручать.
Их своеволье оставляю людям.
Придвиньтесь ближе, лампа и тетрадь.
Мы никакую вещь не обессудим.

Сейчас, сей миг, от сей строки — рука
отпрянула, я ей перекрестилась:
для шумного, из недр души, зевка
дверь шкафа распахнулась и закрылась.

ВОЗВРАЩЕНИЕ В ТАРУСУ

Пред Окой преклоненность земли
и к Тарусе томительный подступ.
Медлил в этой глубокой пыли
стольких странников горестный посох.

Нынче май, и растет желтизна
из открытой земли и расщелин.
Грустным знаньем душа стеснена:
этот миг бытия совершенен.

К церкви бёховской ластится глаз.
Раз еще оглянусь — и довольно.
Я б сказала, что жизнь — удалась,
все сбылось, и нисколько не больно.

Просьбы нет у пресыщенных уст
к благолепью цветущей равнины.
О, как сир этот рай и как пуст,
если правда, что нет в нем Марины.

* * *

Смеркается в пятом часу, а к пяти
уж смерклось. Что сладостней поздних
шатаний, стояний, скитаний в пути,
не так ли, мой пес и мой посох?

Трава и сугробы, октябрь, но февраль.
Тьму выбрав, как свет и идею,
не хочет свободный и дикий фонарь
служить Эдисонову делу.

Я предана этим бессветным местам,
безлюдию их и безлунью,
науськавшим гнаться за мной по пятам
поземку, как свору борзую.

Полога дорога, но есть перевал
меж скромным подъемом и спуском.
Отсюда я вижу, как волен и ал
огонь в обиталище узком.

Терзаясь значеньем окна и огня,
всяк путник умерит здесь поступь,
здесь всадник ночной придержал бы коня,
здесь медлят мой пес и мой посох.

Ответствуйте, верные поводыри:
за склоном и за поворотом

что там за сияющий замок вдали,
и если не замок, то что там?

Зачем этот пламень так смел и велик?
Чьи падают слезы и пряди?
Какой же избранник ее и должник
так надобен этой лампаде?

Кто ей из веков отвечает кивком?
Чьим латам, сединам и ранам
не жаль и не мало пропасть мотыльком
в пленительном пекле багряном?

Ведуний там иль чернокнижников пост?
Иль пьется богам и богиням?
Ужайший мой круг, мой посох и пес,
рванемся туда и погибнем.

Я вижу, вам путь этот странный знаком
во мгле, что горит неусыпно?
— То лампа твоя под твоим же платком,
под красным,— ответила свита.

Там, значит, никто не колдует, не пьет?
Но вот что страшней и смешнее:
отчасти мы все, мои посох и пес,
той лампы моей измышленье.

И это в селенье, где нет поселян,—
спасенье, мой пес и мой посох.
А кто нам спасительный свет посылал —
неважно. Спасибо, что послан.

ЗАБЫТЫЙ МЯЧ

Забыли мяч (он досаждал мне летом).
Оранжевый забыли мяч в саду.
Он сразу стал сообщником календул
и без труда втесался в их среду.

Но как сошлись, как стройно потянулись
друг к другу. День свой учредил зенит
в календулах. Возможно, потому лишь,
что мяч в саду оранжевый забыт.

Вот осени причина, вот зацепка,
чтоб на костре учить от тьмы до тьмы
ослушников, отступников от цвета,
чей абсолют забыт в саду детьми.

Но этот сад! Чей пересуд зеленым
его назвал? Он — поджигатель дач.
Все хороши. Но первенство — за кленом,
уж он-то ждал: когда забудут мяч.

Попался на нехитрую приманку
весь огнь земной. И, судя по всему,
он обыграет скромную ремарку
о том, что мяч был позабыт в саду.

Давно со мной забытый мяч играет
в то, что одна хожу среди осин,

смотрю на мяч и нахожу огарок
календулы. А вот еще один.

Минувший полдень был на диво ясен
и упростил неисчислимый быт
до созерцанья важных обстоятельств:
снег пал на сад и мяч в саду забыт.

БАБОЧКА

День октября шестнадцатый столь тепел,
жара в окне так приторно желта,
что бабочка, усопшая меж стекол,
смерть прервала для краткого житья.

Не страшно ли, не скушно ли? Не зря ли
очнулась ты от участи сестер,
жаднейшая до бренных лакомств яви
средь прочих шоколадниц и сластен?

Из мертвой хватки, из загробной дремы
ты рвешься так, что, слух острее будь,
пришлось бы мне, как на аэродроме,
глаза прикрыть и голову пригнуть.

Перстам не отпускающим, незримым
отдав щепотку боли и пыльцы,
пари, предавшись помыслам орлиным,
сверкай и нежься, гибни и прости.

Умру иль нет, но прежде изнурю я
свечу и лоб: пусть выдумают — как
благословлю я хищность жизнелюбья
с добычей жизни в меркнущих зрачках.

Пора! В окне горит огонь-затворник.
Усугубилась складка меж бровей.
Пишу: октябрь, шестнадцатое, вторник —
и Воскресенье бабочки моей.

МОСКВА: ДОМ НА БЕГОВОЙ УЛИЦЕ

Владимиру Высоцкому

Московских сборищ завсегдатай,
едва очнется небосвод,
люблю, когда рассвет сохатый
чащобу дыма грудью рвет.

На Беговой — одной гостиной
есть плюш, и плен, и крен окна,
где мчится конь неугасимый
в обгон небесного огня.

И видят бельма рани блеклой
пустых трибун рассветный бред.
Фырчит и блещет быстролетный,
переходящий в утро бег.

Над бредом, бегом — над Бегами
есть плюш и плен. Есть гобелен:
в нем те же свечи и бокалы,
тлен бытия, и плюш, и плен.

Клубится грива ипподрома.
Крепчает рысь младого дня.

Застолья вспыльчивая дрема
остаток ночи пьет до дна.

Уж кто-то щей на кухне просит,
и лик красавицы ночной
померк. Окурки утра. Осень.
Все разбредаются домой.

Пирушки грустен вид посмертный.
Еще чего-то рыщет в ней
гость неминуемый последний,
что всех несносней и пьяней.

Уже не терпится хозяйке
уйти в черед дневных забот,
уж за его спиною знаки
она к уборке подает.

Но неподвижен гость угрюмый.
Нездешне одинок и дик,
он снова тянется за рюмкой
и долго в глубь вина глядит.

Не так ли я в пустыне лунной
стою? Сообщники души,
кем пир был красен многолюдный,
стремглав иль нехотя ушли.

Кто в стран полуденных заочность,
кто — в даль без имени, в какой

спасительна судьбы всеобщность
и страшно, если ты изгой.

Пригубила — как погубила —
непостижимый хлад чела.
Все будущее — прежде было,
а будет — быль, что я была.

На что упрямилось воловье
двужилье горловой струны —
но вот уже и ты, Володя,
ушел из этой стороны.

Не поспевает лба неумность
расслышать краткий твой ответ.
Жизнь за тобой вослед рванулась,
но вот — глядит тебе вослед.

Для этой мысли темной, тихой
стих занимался и старел
и сам не знал: при чем гостиной
вид из окна и интерьер?

Так вот какому вверясь року,
гость не уходит со двора!
Нет сил поднять его в дорогу
у суеверного пера.

В честь аллегории нехитрой
гость там зажился. Сгоряча

уже он обернул накидкой
хозяйки зябкие плеча.

Играй со мной, двойник понурый,
сиди, смотри на белый свет.

Отверстой бездны неподкупной
я слышу добродушный смех.

ПУТЕШЕСТВИЕ

Человек, засыпая, из мглы выкликает звезду,
ту, которую он почему-то считает своею,
и пеняет звезде: «Воз житья я на кручу везу.
Выдох легких таков, что отвергнут голодной
свирелью.

Я твой дар раздарил, и не ведает книга моя,
что брезгливей, чем я, не подыщет себе рецензента.
Дай отпраздновать праздность. Сошли на курорт
забытья.
Дай уста отомкнуть не для пенья, а для ротозейства».

Человек засыпает. Часы возвещают отбой.
Свой снотворный привет посылает страдальцу аптека.
А звезда, воссияв, причиняет лишь совесть и боль,
и лишь в этом ее неусыпная власть и опека.

Между тем это — ложь и притворство влюбленной
звезды.
Каждый волен узнать, что звезде он известен и жалок.
И доносится шелест: «Ты просишь? Ты хочешь?
Возьми!»
Человек просыпается. Бодро встает. Уезжает.

Он предвидел и видит, что замки увиты плющом.
Еще рань и февраль; а природа цвести притерпелась.
Обнаженным зрачком и продутым навылет плечом
знаменитых каналов он сносит промозглую прелесть.

Завсегдатай соборов и мраморных хладных пустынь,
он продрог до костей, беззащитный, как все иноземцы.
Может, после он скажет, какую он тайну постиг,
в благородных руинах себе раздобыв инфлюэнцы.

Чем южней его бег, тем мимоза темней и лысей.
Там, где брег и лазурь непомерны, как бред
и бравада,
человек опечален, он вспомнил свой старый лицей,
ибо вот где лежит уроженец Тверского бульвара.

Сколько мук, и еще этот юг, где уместнее пляж,
чем загробье. Прощай. Что растет из гранитных
расселин?
Сторож долго решает: откуда же вывез свой плач
посетитель кладбища? Глициния — имя растений.

Путник следует дальше. Собак разноцветные лбы
он целует, их слух повергая в восторженный ужас
тем, что есть его речь, содержанье и образ судьбы,
так же просто, как свет для свечи — и занятье,
и сущность.

Человек замечает, что взор его слишком велик,
будто есть в нем такой, от него не зависящий, опыт:
если глянет сильнее — невинную жизнь опалит,
и на розовом лике останется шрам или копоть.

Раз он видел и думал: неужто столетья подряд,
чуть меняясь в чертах, процветает вот это
семейство? —
и рукою махнул, обрывая ладонью свой взгляд,—
(благоденствуйте, дескать) — хоть вовремя,
но неуместно.

Так он вчуже глядит и себя застигает врасплох
на громоздкой печали в кафе под шатром полосатым.
Это так же удобно, как если бы чертополох
вдруг пожаловал в гости и заполонил палисадник.

Ободрав голый локоть о цепкий шиповник весны,
он берет эту ранку на память. Прощай, мимолетность.
Вот он дома достиг и, при сильной усмешке звезды,
с недоверьем косится на оцарапанный локоть.

Что еще? В магазине он слушает говор старух.
Озирает прохожих и втайне печется о каждом.
Словно в этом его путешествия смысл и триумф,
он стоит где-нибудь и подолгу глядит на сограждан.

РОЗА

Вид рынка в Гагре душу веселит.
На злато дыни медный грош промотан.
Не есть ли я ленивый властелин,
чей взор пресыщен пурпуром и медом?

Вздыхает нега, бодрствует расчет,
лоснится благоденствие Кавказа.
Торговли огнедышащий зрачок
разнежен сном и узок от коварства.

Где, визирь мой, цветочные ряды?
С пристрастьем станем выбирать наложниц.
Хвалю твои беспечные труды,
владелец сада и садовых ножниц.

Знай, я полушки ломаной не дам
за бледность черт, чья быстротечна участь.
Я красоту люблю, как всякий дар,
за прочный позвоночник, за живучесть.

Я алчно озираюсь. Наконец,
как старый царь — невольницу младую,
влеку я розу в бедный мой дворец
и на свои седины негодую.

Эй вы, плавней, кто тянет паланкин!
Моих два локтя понукаю, то есть —

хранить ее, пока меж половин
всего, что в нем, расплющил нас автобус.

В беспамятстве, в росе еще живой,
спи, жизнь моя, твой обморок не вечен.
Как соразмерно мощный стебель твой
прелестно малой головой увенчан.

Уф, отдышусь. Вот дом, в чей бок тавро
впечатано: «Дом творчества». Как просто!
Есть дом у нас, чтоб сотворить твое
бессмертие на белом свете, роза!

Пока юлит перед тобой глагол,
твой гений сразу обретает навык
дышать водой, опередив глоток
сестер твоих — прислужниц и чернавок.

Прости, дитя, что, из родимых кущ
изъяв тебя, томлю тебя беседой.
Лишь для того мой разум всемогущ,
чтоб стала ты пусть мертвой, но воспетой.

Что розе этот вздор? Уныл и дряхл
хваленый ум, и всяк эпитет скуден.
Он бесполезней и скучнее драхм
ее красе, что занята искусством.

Растеньем быть, а не предметом для
хвалы моей. О, как светает грозно.
Я говорю при первом свете дня:
— Как ты прекрасна, розовая роза!

Та роза ныне — слабый призрак, вздох.
Но у нее заступник есть в природе.
Как беспощадно он взимает долг
с немой души, робеющей при розе.

ГАГРА: КАФЕ «РИЦА»

Как будто сон тягучий и огромный,
клубится день огромный и тягучий.
Пугаясь роста и красы магнолий,
в нем кто-то плачет над кофейной гущей.

Он ослабел — не отогнать осу вот,
над вещей гущей нависает если.
Он то ли болен, то ли так тоскует,
что терпит боль, не меньшую болезни.

Нисходит сумрак. Созревают громы.
Страшусь узнать: что эта гуща знает?
О, горе мне, магнолии и горы.
О море, впрямь ли смысл твой лучезарен?

Я — мертвый гость беспечности курортной:
пусть пьет вино, лоснится и хохочет.
Где жизнь моя? Вот блеск ее короткий
за мыс заходит, навсегда заходит.

Как тяжек день — но он не повторится.
Брег каменный, мы вместе каменеем.
На набережной в заведенье «Рица»
я юношам кажусь Хемингуэем.

Идут ловцы стаканов и тарелок.
Печаль моя относится не к ним ли?

Неужто всё — для этих, загорелых
и ни одной не прочитавших книги?

Я упасу их от моей печали,
от грамоты моей высокопарной.
Пускай всегда толпятся на причале,
вблизи прибоя — с ленью и опаской.

О Море-Небо! Ниспошли им легкость.
Дай мне беды, а им — добра и чуда.
Так расточает жизни мимолетность
тот человек, который — я покуда.

* * *

Вот не такой, как двадцать лет назад,
а тот же день. Он мною в половине
покинут был, и сумерки на сад
тогда не пали и падут лишь ныне.

Барометр, своим умом дошед
до истины, что жарко, тем же делом
и мненьем занят. И оса — дюшес
когтит и гложет ненасытным телом.

Я узнаю пейзаж и натюрморт.
И тот же некто около почтамта
до сей поры конверт не надорвет,
страшась, что весть окажется печальна.

Все та же в море бледность пустоты.
Купальщик, тем же опаленный светом,
переступает моря и строфы
туманный край, став мокрым и воспетым.

Соединились море и пловец,
кефаль и чайка, ржавый мед и жало.
И у меня своя здесь жертва есть.
Вот след в песке. Здесь девочка бежала.

Я помню ту — имевшую в виду
писать в тетрадь до сини предрассветной.

Я медленно навстречу ей иду —
на двадцать лет красивей и предсмертней.

— Все пишешь,— я с усмешкой говорю.—
Брось, отступись от рокового дела.
Как я жалею молодость твою.
И как нелепо ты, дитя, одета.

Как тщетно все, чего ты ждешь теперь.
Все будет: книги, и любовь, и слава.
Но страшен мне канун твоих потерь.
Молчи. Я знаю. Я имею право.

И ты надменна к прочим людям. Ты
не можешь знать того, что знаю ныне:
в чудовищных веригах немоты
оплачешь ты свою вину пред ними.

Беги не бед — сохранности от бед.
Страшись тщеты смертельного излишка.
Ты что-то важно говоришь в ответ,
но мне — тебя, тебе — меня не слышно.

РИГА

Проснулась в тишине, но словно бы от крика:
— Проснись! — проснулся пульс, снабжающий висок
сознаньем бытия. Как я люблю, о Рига,
все острия твои, пронзившие восход.

Светает. Льну к окну. Вид из окна обширен.
И видимость за мной следит через окно.
Шпиль готики суров. Он не простит ошибок.
Вдруг ошибиться мне сегодня суждено?

Шпиль-судия, прости! Что надобно собору
от бедственной души? Она пред ним чиста.
Но — на помост взойду и разминусь с собою,
греховно разомкнув для пения уста.

Безмолвно петь люблю, не услаждая слуха,
досужего иль нет — не ведаю. Но слух,
отверстый для стихов, не может знать досуга:
стихи внушают боль, какой уж там досуг.

Что я скажу ушам, что я очам открою,
забывши письмена для трелей и рулад?
Пока уста твои не обагрились кровью,
труби, труби в твой рог, неистовый Роланд.

Пою — словно платок багряностью мараю.
Вот вся моя судьба, сокрытая от глаз.

Но я люблю тот миг, в который умираю:
я, умерев за вас, останусь жить для вас.

Какая в горле сушь, и мука, и прогорклость.
Как непреклонен шпиль в сияющем окне.
Отдайте горесть — мне. Себе возьмите голос,
любовь и жизнь мою — на память обо мне.

* * *

Не добела раскалена,
и все-таки уже белеет
ночь над Невою.
Ум болеет
тоской и негой молодой.
Когда о купол золотой
луч разобьется предрассветный
и лето входит в Летний сад,
каких наград, каких услад
иных
просить у жизни этой?

ЛЕНИНГРАД

Опять дана глазам награда Ленинграда...
Когда сверкает шпиль, он причиняет боль.
Вы неразлучны с ним, вы — острие и рана,
и здесь всегда твоя второстепенна роль.

Зрачок пронзен насквозь, но зрение на убыль
покуда не идет, и по причине той,
что для него всегда целебен круглый купол,
спасительно простой и скромно золотой.

Невинный Летний сад обрек себя на иней,
но сей изыск списать не предстоит перу.
Осталось, к небесам закинув лоб наивный,
решать: зачем душа потворствует Петру?

Не всадник и не конь, удержанный на месте
всевластною рукой, не слава и не смерть —
их общий стройный жест, изваянный из меди,
влияет на тебя, плоть обращая в медь.

Всяк царь мне дик и чужд. Знать не хочу!
И все же
мне не подсудна власть — уставить в землю
перст,
и причинить земле колонн и шпилей всходы,
и предрешить того, кто должен их воспеть.

Из Африки изъять и приручить арапа,
привить ожог чужбин Опочке и Твери —

смысл до поры сокрыт, в уме — темно и рано,
но зреет близкий ямб в неграмотной крови...

Так некто размышлял... Однако в Ленинграде
какой февраль стоит, как весело смотреть:
все правильно окрест, как в пушкинской тетради,
раз навсегда, впопад, и только так, как есть!

ВОЗВРАЩЕНИЕ ИЗ ЛЕНИНГРАДА

Все б глаз не отрывать от города Петрова,
гармонию читать во всех его чертах
и думать: вот гранит, а дышит, как природа...
Да надобно домой. Перрон. Подъезд. Чердак.

Былая жизнь моя — предгорье сих ступеней.
Как улица стара, где жили повара.
Развязно юн.пред ней пригожий дом столетний.
Светает, а луна трудов не прервала.

Как велика луна вблизи окна. Мы сами
затеяли жилье вблизи небесных недр.
Попробуем продлить привал судьбы в мансарде:
ведь выше — только глушь, где нас с тобою нет.

Плеск вечности в ночи подтачивает стены
и зарится на миг, где рядом ты и я.
Какая даль видна! И коль взглянуть острее,
возможно различить границу бытия.

Вселенная в окне — букварь для грамотея,
читаю по складам и не хочу прочесть.
Объятую зарей, дымами и метелью,
как я люблю Москву, покуда время есть.

И давешняя мысль — не больше безрассудства.
Светает на глазах, все шире, все быстрей.
Уже совсем светло. Но, позабыв проснуться,
простер Тверской бульвар цепочку фонарей.

ПРИМЕТЫ МАСТЕРСКОЙ

Борису Мессереру

О гость грядущий, гость любезный!
Под этой крышей поднебесной,
которая одной лишь бездной
всевышней мглы превзойдена,
там, где четыре граммофона
взирают на тебя с амвона,
пируй и пей за время оно,
за граммофоны, за меня!

В какой немыслимой отлучке
я ныне пребываю,— лучше
не думать! Ломаной полушки
жаль на помин души моей,
коль не смогу твой пир обильный
потешить шуткой замогильной
и, как всеведущий Вергилий,
тебя не встречу у дверей.

Войди же в дом неимоверный,
где быт — в соседях со вселенной,
где вечности озноб мгновенный
был ведом людям и вещам
и всплеск серебряных сердечек
о сквозняке пространств нездешних
гостей, когда-то здесь сидевших,
таинственно оповещал.

У ног, взошедших на Голгофу,
доверься моему глаголу
и, возведя себя на гору
поверх шестого этажа,
благослови любую малость,
почти предметов небывалость,
не смей, чтобы тебя боялась
шарманки детская душа.

Сверкнет ли в окнах луч закатный,
всплакнет ли ящик музыкальный
иль призрак севера печальный
вдруг вздыбит желтизну седин,—
пусть реет над юдолью скушной
дом, как заблудший шар воздушный,
чтоб ты, о гость мой простодушный,
чужбину неба посетил...

МОСКВА НОЧЬЮ ПРИ СНЕГОПАДЕ

Родитель-хранитель, ревнитель души,
что ластишься чудом и чадом?
Усни, не таращь на луну этажи,
не мучь Александровским садом.

Москву ли дразнить белизною Афин
в ночь первого сильного снега?
(Мой друг, твое имя окликнет с афиш
из отчужденья, как с неба.

То ль скареда-лампа жалеет огня,
то ль так непроглядна погода,
мой друг, твое имя читает меня
и не узнает пешехода.)

Эй, чудище, храмище, больно смотреть,
орды угомон и поминки,
блаженная пестрядь, родимая речь —
всей кровью из губ без запинки.

Деньга за щекою, раскосый башмак
в садочке, в калине-малине.
И вдруг ни с того ни с сего, просто так,
в ресницах — слеза по Марине...

ЗАПОЗДАЛЫЙ ОТВЕТ ПАБЛО НЕРУДЕ

Коль впрямь качнулась и упала
его хранящая звезда,
откуда эта весть от Пабло
и весть моя ему — куда?

С каких вершин светло и странно
он озирает белый свет?
Мы все прекрасны несказанно,
пока на нас глядит поэт.

Вовек мне не бывать такою,
как в сумерках того кафе,
воспетых чудною строкою,
столь благосклонною ко мне.

Да было ль в самом деле это?
Но мы, когда отражены
в сияющих зрачках поэта,
равны тому, чем быть должны.

ПЕСЕНКА ДЛЯ БУЛАТА

Мой этот год — вдоль бездны путь.
И если я не умерла,
то потому, что кто-нибудь
всегда молился за меня.

Все вкривь и вкось, все невпопад,
мне страшен стал упрек светил,
зато — вчера! Зато — Булат!
Зато — мне ключик подарил!

Да, да! Вчера, сюда вошед,
Булат мне ключик подарил.
Мне этот ключик — для волшебств,
а я их подарю — другим.

Мне трудно быть не молодой
и знать, что старой — не бывать.
Зато — мой ключик золотой,
а подарил его — Булат.

Слова из губ — как кровь в платок.
Зато на век, а не на миг.
Мой ключик больше золотой,
чем золото всех недр земных.

И все теперь пойдет на лад,
я буду жить для слез, для рифм.
Не зря — вчера, не зря — Булат,
не зря мне ключик подарил!

* * *

(Шуточное послание к другу)

Покуда жилкой голубою
безумья орошен висок,
Булат, возьми меня с собою,
люблю твой легонький возок.

Ямщик! Я, что ли,— завсегдатай
саней? Скорей! Пора домой,
в былое. О Булат, солдатик,
родимый, не убитый мой.

А остальное — обойдется,
приложится, как ты сказал.
Вот зал, и вальс из окон льется.
Вот бал, а нас никто не звал.

А все ж — войдем. Там, у колонны...
так смугл и бледен... Сей любви
не перенесть! То — он. Да он ли?
Не надо знать, и не гляди.

Зачем дано? Зачем мы вхожи
в красу чужбин, в чужие дни?
Булат, везде одно и то же.
Булат, садись! Ямщик, гони!

Как снег летит! Как снегу много!
Как мною ты любим, мой брат!
Какая долгая дорога
из Петербурга в Ленинград.

ПЕРЕДЕЛКИНО ПОСЛЕ РАЗЛУКИ

Станиславу Нейгаузу

Темнела долгая загадка,
и вот сейчас блеснет ответ.
Смотрю на купол в час заката,
и в небо ясный вход отверст.

Бессмертная душа надменна,
а то, что временный оплот
души, желает жить немедля,
но это место узнает.

Какая связь меж ним и телом,
не догадаться мудрено.
Вдали, внизу, за полем белым
о том же говорит окно.

Все праведней, все беззащитней
жизнь света в доблестном окне.
То — мне привет сквозь мглу, сквозь иней,
укор и предсказанье мне.

Просительнее слез и слова,
слышнее изъявленья уст
свет из окна. Но я — готова,
и я пред ним не провинюсь.

Ни я не замараюсь славой,
ни поле, где течет ручей,
не вздумает очнуться свалкой
ненужных и чужих вещей.

ПАМЯТИ ГЕНРИХА НЕЙГАУЗА

Что — музыка? Зачем? Я — не искатель муки.
Я все нашла уже и все превозмогла.
Но быть живой невмочь при этом лишнем звуке,
о мука мук моих, о музыка моя.

Излишек музык — две. Мне — и одной довольно,
той, для какой пришла, была и умерла.
Но все это — одно. Как много и как больно.
Чужая — и не тронь, о музыка моя.

Что нужно остриям органа? При органе
я знала, что распят, кто, говорят, распят.
О музыка, вся жизнь — с тобою пререканье,
и в этом смысл двойной моих услад-расплат.

Единожды жила — и дважды быть убитой?
Мне, впрочем,— впору. Жизнь так сладостно мала.
Меж музыкой и мной был музыкант любимый.
Ты — лишь затем моя, о музыка моя.

Нет, ты есть он, а он — тебя предрекший рокот,
он проводил ко мне все то, что ты рекла.
Как папоротник тих, как проповедник кроток
и — краткий острый свет, опасный для зрачка.

Увидела: лицо, и бархат цвета... цвета? —
зеленого, слабей, чем блеск и изумруд:

как тина или мох. И лишь при том здесь это,
что совершенен он, как склон, как холм, как пруд —

столь тихие вблизи громокипящей распри.
Не мне ее прощать: мне та земля мила,
где Гёте, Рейн, и он, и музыка — прекрасны,
Германия моя, гармония моя.

Вид музыки так прост: он схож с его улыбкой.
Еще там были: шум, бокалы, торжество,
тот ученик его прельстительно великий,
и я — какой ни есть, но ученик его.

* * *

Мы начали вместе: рабочие, я и зима.
Рабочих свезли, чтобы строить гараж с кабинетом
соседу. Из них мне знакомы Матвей и Кузьма
и Павел-меньшой, окруженные кордебалетом.

Окно, под каким я сижу для затеи моей,
выходит в их шум, порицающий силу раствора.
Прошло без помех увядание рощ и полей,
листва поредела, и стало светло и просторно.

Зима поспешала. Холодный сентябрь иссякал.
Затея томила и не давалась мне что-то.
Коль кончилось курево или вдруг нужен стакан,
ко мне отряжали за прибылью Павла-меньшого.

Спрошу: — Как дела? — Засмеется: — Как сажа бела.
То нет кирпича, то застряла машина с цементом.
— Вот-вот,— говорю,— и мои таковы же дела.
Утешимся, Павел, печальным напитком целебным.

Октябрь наступил. Стало Пушкина больше вокруг,
верней, только он и остался в уме и природе.
Пока у зимы не валилась работа из рук,
Матвей и Кузьма на моем появлялись пороге.

— Ну что? — говорят. Говорю: — Для затеи пустой,
наверно, живу.— Ничего,— говорят,— не печалься.

Ты видишь в окно: и у нас то аврал, то простой.
Тебе веселей: без зарплаты, а все ж — без
начальства...

Нежданно-негаданно — невидаль: зной в октябре.
Кирпич и цемент обрели наконец-то единство.
Все травы и твари разнежились в чудном тепле,
в саду толчея: кто расцвел, кто воскрес, кто родился.

У друга какого, у юга неужто взаймы
наш север выпрашивал блики, и блески, и тени?
Меня ободряла промашка неловкой зимы,
не больше меня преуспевшей в заветной затее.

Сияет и греет, но рано сгущается темь,
и тотчас же стройка уходит, забыв о постройке.
Как, Пушкин, мне быть в октября девятнадцатый
день?
Смеркается — к смерти. А где же друзья, где
восторги?

И век мой жесточе, и дар мой совсем никакой.
Все кофе варю и сижу, пригорюнясь, на кухне.
Вдруг — что-то живое ползет меж щекой и рукой.
Слезу не узнала. Давай посвятим ее Кюхле.

Зима отслужила безумье каникул своих
и за ночь воздвигла такие хоромы, что диво.
Уж некуда выше, а снег все валил и валил.
Как строят — не видно, окно — непроглядная
льдина.

Мы начали вместе. Зима завершила труды.
Стекло поскребла: ну и ну, с новосельем соседа!
Прилажена крыша, и дым произрос из трубы.
А я все сижу, все смотрю на падение снега.

Вот Павел, Матвей и Кузьма попрощаться пришли.
— Прощай,— говорят.— Мы-то знаем тебя не
по книжкам.
А все же для смеха стишок и про нас напиши.
Ты нам не чужая — такая простая, что слишком...

Ну что же, спасибо, и я тебя крепко люблю,
заснеженных этих равнин и дорог обитатель.
За все рукоделья, за кроткий твой гнев во хмелю,
еще и за то, что не ты моих книжек читатель.

Уходят. Сказали: — К Ноябрьским уж точно сдадим.
Соседу втолкуй: все же праздник, пусть будет
попроще...—
Ноябрь на дворе. И горит мой огонь-нелюдим.
Без шума соседнего в комнате тихо, как в роще.

А что же затея? И в чем ее тайная связь
с окном, возлюбившим строительства скромную
новость?

Не знаю.
Как Пушкину нынче луна удалась!
На славу мутна и огромна, к морозу, должно быть!

СОДЕРЖАНИЕ

«Есть тайна у меня от чудного цветенья...» . . 3
Сад 5
Ночь упаданья яблок 7
«Глубокий нежный сад, впадающий в Оку...» . 9
Таруса 11
Путник 16
«Деревня Бёхово крестьянин...» 18
Луна в Тарусе 19
Кофейный чертик 21
Препирательства и примирения 23
Луна до утра 27
Утро после луны 31
Февральское полнолуние 33
Род занятий 36
Вослед 27 дню февраля 42
День 12 марта 45
Вослед 27 дню марта 48
Ревность пространства 51
Милость пространства 53
Строгость пространства 56
Свет и туман 58
Рассвет 60
Черемуха 61
Черемуха трехдневная 64
Черемуха предпоследняя 67
Игры и шалости 71
Прогулка 73
Палец на губах 75
Сад-всадник 79
Непослушание вещей 81
Возвращение в Тарусу 83
«Смеркается в пятом часу, а к пяти...» 84
Забытый мяч 86
Бабочка 88

Москва: дом на Беговой улице 90
Путешествие 94
Роза 97
Гагра: кафе «Рица» 100
«Вот не такой, как двадцать лет назад...» . . . 102
Рига 104
«Не добела раскалена...» 106
Ленинград 107
Возвращение из Ленинграда 109
Приметы мастерской 111
Москва ночью при снегопаде 113
Запоздалый ответ Пабло Неруде 114
Песенка для Булата 115
«Покуда жилкой голубою...» 117
Переделкино после разлуки 119
Памяти Генриха Нейгауза 121
«Мы начали вместе: рабочие, я и зима...» . . . 123

Белла Ахатовна Ахмадулина

ТАЙНА

М., «Советский писатель», 1983, 128 стр.
План выпуска 1983 г. № 158

Редактор *В. С. Фогельсон*
Худож. редактор *Д. С. Мухин*
Техн. редактор *Н. В. Сидорова*
Корректор *Т. В. Малышева*

ИБ № 3548

Сдано в набор 14.03.83. Подписано к печати 28.04.83. А 04082. Формат 70×108 1/32. Бумага тип. № 1. Журнальная гарнитура. Офсетная печать. Усл. печ. л. 5,60. Уч.-изд. л. 3,65. Тираж 25 000 экз. Заказ № 197. Цена 40 коп. Издательство «Советский писатель», 121069, Москва, ул. Воровского, 11. Тульская типография Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, г. Тула, проспект Ленина, 109

40 коп.